

An abstract painting featuring a face in profile, rendered in blue and white, set against a background of dense, dark, and light brown textures. A grid pattern is visible in the upper right corner. The overall style is expressive and layered.

ЕЛЕНА КРЮКОВА

КОПИЕН

Елена Крюкова

Колизей

«Издательские решения»

Крюкова Е.

Колизей / Е. Крюкова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-836811-0

Три крупных поэтических цикла Елены Крюковой — «Москва кабацкая», «Ночной карнавал» и «Страсти по Магдалине» — объединены сквозной темой Колизея, вечного ристалища, вечной борьбы. Колизей — арена столицы, где люди бьются друг с другом за кусок хлеба; Колизей — эмигрантский Париж, где ты пляшешь перед жаждущей зрелищ толпой; Колизей — снова ночная Москва, где вечной Магдалине важно перевязать раненого, обогреть замерзшего, накормить голодного.

ISBN 978-5-44-836811-0

© Крюкова Е.
© Издательские решения

Содержание

Колизей	6
Спите, герои	7
Москва кабацкая	16
Подвал	17
Роды в кабаке	18
Последняя пляска	20
Давид и Саул	23
Любовь кабацкая	25
Японка в кабаке	27
Кармен забредает в кабак	29
Убийство в кабаке	31
«С клеенки лысой крохи стерли...»	33
Свадьба в кабаке	34
«Ах, девочка на рынке...»	36
Василий Блаженный	37
«Ты вскинул бокал темно-красного...»	39
Видение Исайи о разрушении Вавилона	40
Adagio funebre	40
Andante amoroso	40
Allegro disperato	41
Largo. Pianissimo	43
Милостыня	45
Волковы бани	46
Блаженная и пьяный пророк	47
«По Радищевской улице...»	50
Девочка в кабаке на фоне восточного ковра	51
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Колизей

Елена Крюкова

© Елена Крюкова, 2017

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2017

ISBN 978-5-4483-6811-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Колизей

Новая книга стихотворений Елены Крюковой «Колизей» – парадоксальная попытка соединить несоединимое. Так же, как музыка изобилует контрастами, поэзия Крюковой выстроена на невероятных сопоставлениях и смелых образных столкновениях.

В книге три крупных поэтических цикла.

«Москва Кабацкая» – многонаселенное стиховое пространство. Его лейтмотив – дерзко обозначенный в парафрадном названии столичный каба́к, то роскошный, то бедняцкий, со всеми трагедиями и радостями, которыми он полнится во всей русской истории. Архетипы пьянки как священного безумия, водки как зелья, без которого невозможны пророчество и прощение, – основная нота композиции. Песенное и монументальное начала здесь сплетены, на выходе рождая новаторские масштабы и интонации.

В «Ночном карнавале» слышна иная музыка, красной нитью прошивающая всю ткань книги – ритмика всеобъемлющего, вселенского танца. Станцевать жизнь, станцевать судьбу и любовь не всякому по силам... Танец как мегаобраз современности – вот апология «Ночного карнавала», посвященного судьбам русских эмигрантов в Париже.

Эти мелодии плавно переходят в песни и монологи «Страстей по Магдалине» – из эмигрантского Парижа мы вновь попадаем в темные трущобы громадной нынешней Столицы, на дне которой – ясные глаза и морщинистый лик старой женщины Марии, знающей цену жизни и раскинутым над каждым крыльям смерти.

Так архетипом Колизея объединено мировое ристалище: Колизей – стены столицы, где люди бьются друг с другом за кусок хлеба; Колизей – Париж, где ты ежедневно пляшешь перед жаждущей зрелищ толпой; Колизей – снова ночная Москва, в которой вечной Магдалине важно перевязать раненого, обогреть замерзшего, накормить голодного.

Спите, герои

Колизей – метафора многозначная.

Арена для борьбы, где воины не хотят умирать – и все-таки идут на смерть: туда их гонят.

Ристалище, где состязаются храбрец и хищник.

Открытое пространство, где гуляют ветра, свободно льется кровь и вольно, освобожденно орет толпа: «Умертви!» – или: «Пощади!» – в зависимости от своего настроения. И, конечно же, от настроения и каприза императора.

Жизнь и смерть, выдвинутые на всеобщее обозрение – что было интимным и тайным, внезапно и страшно обнажается, и люди получают возможность понять, за что они отдают жизнь и какие уродливые формы может принять гибель.

В Колизее принимали смерть не только бойцы-гладиаторы, но и простые люди, после мученической кончины ставшие навек – в истории религии и культуры – святыми.

Что же такое «Колизей» Елены Крюковой, книга из трех книг, где на наше обозрение выставлены начала бытия – с их традициями и ломкой этих традиций, с их онтологичностью и первозданностью, с их апологией повседневного мученичества, внезапно превращенного в вечную святость?

* * *

Настораживает название первого цикла: «Москва Кабацкая». И дело даже не в том, что тут же на ум приходит Сергей Есенин. При беглом взгляде на стихи сразу становится ясно – есенинских мотивов тут и в помине нет, а если они есть, это отнюдь не кабацкие драки и разудалые дебоши. «Москва Кабацкая» – книга, воспевающая низы общества: как сказано в кратенькой прозаической прелюдии, «Столичную Бедноту».

Оратория, кантата, опера нищих – вот как можно обозначить образность этой вещи; здесь все звучит и поет, плывет и плачет, орет и безумствует, пьяно шепчет и любовно молится – на фоне единственного мегаобраза – кабацкого зала с бутылками на столах. Это не воспевание и не оправдание пьянства, как может показаться. Здесь дело совсем в другом, и смыслы тут лежат гораздо глубже, чем кажется.

Один из излюбленных путей Крюковой как художника – путь вниз, к «малым сим», к нищим мира сего, к покинутым, к отверженным. К одному из своих романов, «Ярмарка», она прямо ставит посвящение: «Отверженным моей Родины». Вот «Москва Кабацкая» – это опера в стихах как раз об отверженных, о тех «маленьких людях», что рассеяны по страницам русской литературы и хорошо знакомы нам, и обращение к их жизням идет, конечно же, от времен Гоголя, Достоевского, Чехова, Горького.

Есенинский тут, пожалуй, только высокий, теноровой ноты, трагизм, и то, конечно же, он не калька с трагедии поэта двадцатых годов прошлого столетия – он вполне нынешний, и особенно явно просматривается в «Восьми ариях Марфы Посадницы»: здесь ассоциации с Чечней, Бесланом, Афганистаном, Украиной, здесь изначальная, врожденная каждому любовь к родине перебивается болью за нее и презрением к ней, убивающей и предающей своих детей:

*Ну, смотрите, несчастные люди,
Эта баба пьяна без вина
Я гадаю, что с Родиной будет.
Моя жизнь мне уже не нужна.*

*Оборот. Заскрипела планета.
Собутыльник, расстрига-монах,
Знаешь лучше меня: Бога нету.
Да молитва Его – на губах.*

*Как земля наша плакала, пела.
Как расстреляна – молча – была.
Как ее необмытое тело
Разрезали на плахе стола.
Лжепророки в блистающем зале
Отрубали за кусом кусок
И багровые зубы казали,
И ко ртам прижимали платок...*

Вот острый глаз художника видит малорослую старуху-нищенку, что скитается по городу с сумой и собирает в нее огрызки и корки – и себе, и птицам на прокорм, – и внезапно эта маленькая старушечья фигурка вырастает в воображении автора до святой фигуры на стене храма – той святой, что одна на свете и любит ее, и прощает:

*Ты, нищенка, ты, знаменитая, – не лик, а сморщь засохшей
вишни, —
Одни глаза, как пули, вбитые небесным выстрелом Всевышним:
Пронзительные, густо-синие, то бирюза, то ледоходы, —
Старуха, царственно красивая последней, бедною свободой, —
Учи, учи меня бесстрашию протягивать за хлебом руку;
Учи беспечью и безбрачию, – как вечную любить разлуку
С широким миром, полным ярости, алмазов льда, еды на рынке,
Когда тебе, беднячке, ягоды кидала тетка из корзинки...*

Кабак постепенно становится некой Вселенной, в которой происходят все важнейшие для человека моменты жизни: роды и свадьбы, похороны и отпевания, любовные свидания и драматические разлуки. Здесь убивают из ревности, здесь любят – на разрыв аорты. Здесь пируют нищие, и вдруг стол в заштатной пельменной, за который бедняки уселись, становится пиршеством богов, и над головами нищих летят ангелы: так сопрягается мир дольный и мир горний.

И эта кабацкая Вселенная живет по своим законам: тут бывший царь сидит у кабацкого крыльца и тянет за милостыней руку вместе с нищим, тут красавица-девочка, которую затащили в кабак – напоить ее и потешиться ею, – превращается в символ самой жизни, поруганной и бесконечно любимой:

*...В узорах пламенных – войной горит, дитя, твой трон
А после – в яме выгребной усмешкой рот сожжжен.
Ухмылкой старой и чужой, – о, нищею!.. – моей:
Кривою, бедною душой последней из людей.
Ковер мерцает и горит, цветная пляшет шерсть.
Я плачу пред тобой навзрыд, затем, что есть ты, есть —
Красивая девчонка, жизнь! Вся в перстнях пальцев дрожь!
...ну поклонись. Ну побожись, что ты со мной уйдешь.*

Одно из самых сильных стихотворений этой книги – «Мать». Здесь Крюкова поднялась до высот, до которых, думаю, редко кто поднимался из современных, да и из прежних поэтов. В «Матери» звучат бетховенские ноты и видна пластика Микеланджело. Это неудивительно – Крюкова свободно пользуется в литературе приемами других искусств, и это только обогащает образную палитру.

*...И вот я, патлата, с дитем, опьяненным столицей,
В кабак, буерак, меж дворцов прибегаю – напиться.
Залить пустоту, что пылает, черна и горяча.
В широкие двери врываю угрюмою тучей.
На стол, весь заплеванный, мощный кулак водружаю.
Седая, живот мой огрузлый, – я Время рожаю.
Дитя грудь пустую сосет. Пяткой бьет меня в ребра.
На рюмки, как будто на звезды, я щурюсь недобро.
За кучу бумажных ошметок мне горе приносят.
Огромная лампа горит, как на пытке, допросе.*

*О век мой, кровав. Воблой сгрызла тебя. Весь ты кончен.
Всю высосу кость и соленый хребет, ураганом источен.*

*И пью я и пью, пьет меня мой младенец покуда.
Я старая мать,
я в щеку себя бью, я не верую в чудо...*

Крюкова свободно пользуется избранной ею крупной формой, и, на мой взгляд, в «Москве Кабацкой» не одна кульминация, а две – два фрагмента книги можно считать центральными: это «Видение Исаяи о разрушении Вавилона» (как обозначено самим автором, это «симфония в четырех частях») и большая фреска «Нищие». Здесь перед нами – образная система отнюдь не церковных росписей. Исаяя и лирическая героиня, сидящие в кабаке за столом, – это всего лишь лысый старик и молодая девушка, что жадно слушает его пьяное бормотание. Водочная словесная вязь постепенно становится пророчеством – и здесь Крюкова пользуется забытой, архаической лексикой, заставляющей вспомнить не только Державина, но и поэтов додержавинской поры:

*И, будь ты царь или кавсяк, зола иль маргарит —
Ты грабил?!.. – грабили тебя?!.. – пусть все в дыму сгорит.
Кабаньи хари богачей. Опорки бедняка.
И будешь ты обарку жрать заместо каймака.
И будет из воды горох, дрожа, ловить черпак. —
А Вавилон трещит по швам!.. Так радуйся, бедняк!..
Ты в нем по свалкам век шнырял. В авоськах – кости нес.
Под землю ты его нырял, слеп от огней и слез.
Платил ты судорогой телес за ржавой пицци шмат.
Язык молитвою небес пек Вавилонский мат.
Билет на зрелища – в зубах тащил и целовал.
На рынках Вавилонских ты соль, мыло продавал.
Наг золота не копил, так!.. Над бедностью твоей
Глумился подпитой дурак, в шелку, в венце, халдей.
Так радуйся! Ты гибнешь с ним. Жжет пороссячий визг.*

Упал он головою в кадь – видать, напился вдрызг.

А крюковские нищие – это и подлинные нищие «чадной столицы», и нищие ангелы с призрачными крыльями, и сама нищая героиня, которая если и может раздать милостыню, так только разломив себя самое на куски:

*Мир плевал в нас, блажных! Голодом морил!
Вот размах нам – ночных, беспобедных крыл.
Вот последнее нам счастье – пустой, грозный зал,
Где, прижавшись к голяку, все ему сказал;
Где, обнявши голытьбу, соль с-под век лял,
Ты благословишь судьбу, где твоя семья —*

*Эта девка с медным тазом, ряжена в мешок,
Этот старик с кривым глазом, с башикою как стог,
Эта страшная старуха, что сушеный гриб,
Этот голый пацаненок, чей – тюремный всхлип;
Этот, весь в веригах накрест, от мороза синь,
То ли вор в законе, выкрест, то ль – у церкви стынь,
Эта мать – в тряпье завернут неисходный крик! —
Ее руки – птичьи лапки, ее волчий лик;
Эта нищая на рынке, коей я даю
В ту, с ошурками, корзинку, деньгу – жизнь мою;
И рубаки, и гуляки, трутни всех трущоб,
Чьи тела положат в раки, чей святится лоб, —
Вся отреплая армада, весь голодный мир,
Что из горла выпил яду, что прожжен до дыр, —
И любить с великой силой будешь, сор и жмых,
Только нищих – до могилы, ибо Царство – их.*

Вот оно! Слово сказано. «Царство – их»: это же прямой парафраз евангельского «... ибо их есть Царствие Небесное». Все оправдано и освящено – значит, и нечего уже бояться. Все на свете повторяется, повторится и эта ночь, и этот кабак, и эти бедняки, что едят дешевые пельмени и пьют дешевую дармовую (кто-то их угощает...) водку, и эти внимательные женские глаза, то полные слез, то сияющие чистой радостью, наблюдающие нищую жизнь – самую богатую, самую священную на земле, как выясняется из контекста стиха.

Апология всеобщего оправдания, щедрого прощения напрямую звучит в одном из финальных стихов – «Всепрощении». Здесь душа, уже вышедшая из тела (смерть уже произошла...), вольно летает над кабацкими гуляками, над злыми людьми, кто при жизни терзал и обижал героиню, и над людьми добрыми, – и тех и других эта исшедшая из тела душа любит одинаково:

*Сыплюсь черным снегом вниз! Языком горячим
Всю лижу живую жизнь в конуре собачьей!
Всех целую с вышины! Ветром обнимаю!
Всех – от мира до войны – кровью укрываю...
Прибывали ко Кресту?!.. Снег кропили алым?!..
Всех до горла замету смертным одеялом. <...>
И, кругом покуда смех, чад и грех вонючий, —*

Плача, я прощаю всех, кто меня замучил.

Так исполняется христианский завет, и потому «Москва Кабацкая» – гораздо более христианская книга, чем кажется на первый взгляд. Этот текст – не о попойках, а о понимании и прощении; не о пьяной ненависти, а о великой любви. Героиня, пляшущая вместе с цыганами на Арбате и гуляющая вместе с ними, под рокоты их гитар, опять в кабаке (здесь вспоминаются дореволюционные «Ярь» и «Стрельна», а впрочем, узнаваемо изображен любой современный кабак «московского разлива»...), сама выкрикивает это признание – в пылу пляски, под цыганскую рвущую сердце песню:

*Нет креста ветров
Нет вериг дорог.
Только эта пляска есть – во хмелю!
Только с плеч сугробных – весь в розанах – платок:
Больше смерти я жизнь люблю.
Ты разбей бокал на счастье – да об лед!
Об холодный мрамор – бей!
Все равно никто на свете не умрет*

*Распоследний из людей.
А куда все уйдут?!.. – в нашей пляски хлест!
В нашей битой гитары дрызнь!
Умирать буду – юбка – смерчем – до звезд. Больше жизни
люблю я*

жизнь.

* * *

И эта кабацкая пляска служит естественной лигой, связкой для перехода к другому, но тоже открытому «колизейному» пространству – атмосфере «Ночного карнавала», где властвует стихия танца, и он тоже, как и Вселенский Кабак в «Москве Кабацкой», всемогущ и тотален. Этот тотальный танец – мегаметафора первой русской эмиграции в Париже.

Эмиграция – тема, давно волнующая Крюкову-автора. Из каких забытых мемуаров всплыли герои «Ночного карнавала» – красавица Мадлен, по происхождению русская, и великий князь Владимир? Мадлен – Магдалина, значит грешница, ставшая прославленной в Евангелиях святой: символика чересчур прозрачна, она как на ладони. Князь Владимир, «владеющий миром», носит имя одного из первых русских князей – и на том спасибо: цепь исторических ассоциаций благополучно собрана.

И начинается танец – он звучит почти в каждом стихотворении этой французской фантазии. Танец – сон о России, танец в кафе (Крюкова иной раз пишет по старинке – «кафэ»), танец в борделе, танец-отчаяние, танец – любовь... Как удалось автору выстроить все здание этой любовной, по сути, книги на танце – Бог весть; однако наиболее сильными «танцами» здесь я считаю «Бал в Царском дворце» (тут через танец невероятно, почти как в кино, с наложением кадров, показана величайшая трагедия России XX века – революция, красный террор, гибель Царской Семьи) и «Последний танец над мертвым веком», где герои-возлюбленные, кружась в гигантской широты вальсе, танцуют, вихрем несутся над всем пережитым – не только ими, но и всеми русскими людьми:

*Мы танцуем над веком,
где было все —
от Распятъя и впрямь,
и наоборот,
где катилось железное колесо
по костям — по грудям — по глазам — вперед.
Где сердца лишь кричали:
«Боже, храни
Ты Царя!..» — а глотки:
«Да здравст-вует
Комиссар!..» — где жгли животы огни,
где огни плевали смертям вослед.
О, чудовищный танец!.. — вихрь, кружись.
Унесемся далеко.
В поля. В снега.
Вот она какая жалкая, жизнь:
малой птахой — в Твоем кулаке — рука —
воробьемком, голубкой... —
голубка, да.
Пролетела над веком —
в синь-небесах!.. —
пока хрусь — под чугуна-сапогом — слюда
наста-грязи-льда —
как стекло в часах...
Мы танцуем, любовь!.. — а железный бал
сколько тел-литавр,
сколько скрипок-дыб,
сколько лбов, о землю, молясь, избивал
барабанами кож,
ударял под дых!
Нет времени гаже.
Жесточе — нет.
Так зачем ЭТА МУЗЫКА так хороша?!
Я танцую с Тобой — на весь горький свет,
и горит лицо, и поет душа!*

Иной раз танец тут становится инструментом провидения, предсказания, предчувствия: он перестает быть «танцевальной метафорой» и превращается в историческое пространство, которое бесконечно кружится, летит, колыхается и движется, в сам земной воздух, окутывающий многострадальную, покинутую страну:

*Везде!.. — в дыму, на поле боя
В изгнании, воя и воя,
На всей земле, по всей земле —
Лишь вечный танец — топни пяткой —
Коленцем, журавлем, вприсядку,
Среди стаканов, под трехрядку,
Под звон посуды на столе —*

*Вскочи на стол!.. – и, среди кружек
Среди фарфоровых подружек
И вилок с лезвием зубов —
Танцуй, народ, каблук о скатерть
Спаситель сам и Богоматерь,
Сама себе – одна любовь.
И рухнет стол под сапогами!
Топчи и бей! Круши ногами!
...Потом ты срубишь все сполна —
Столешницу и клеть древяну,
И ту часовню Иоанна,
Что пляшет в небесах,
одна.*

* * *

И, наконец, «Страсти по Магдалине». Евангельский колорит названия уже не способен обмануть читателя. Мы знаем, что встретимся здесь не со спокойной мудростью, а с напряженным действием, и внешним, и душевным, – и не ошибемся.

Крюкова здесь работает уже не как режиссер, не как музыкант, не как фресковик-монументалист – она пишет картины «Страстей по Магдалине» как простой художник. Эта станковая живопись, с виду непритязательная, все равно часто вырывается за камерные рамки и опять претендует на масштабность.

Но, конечно, эта вещь гораздо более лирическая, чем две предыдущие. На арене Колизея – Магдалина, только не первая христианка, а последняя: ее зовут Мария, она наша современница, живет в Столице (опять очень узнаваема Москва), занимается странными делами – что тебе блаженная: встречает незнакомцев, приводит к себе домой, кормит и поит, а то и укладывает с собой спать. Такая вот и страшная, и смешная идиллия.

Вроде бы смешная. И – по-настоящему страшная. А внутри этого реального страха кроется таинственный свет – он-то и спасает всю стихотворную ткань этой композиции, где отдельные стихи – и события (мизансцены), и песни (весь «звукоряд» идет от лица Марии-Магдалины), и чистая лирика, когда автор свободно превращается в свою натуру, меняется с ней местами.

Фабула тут тоже вроде бы несложная – вот портрет стареющей судомойки, вот она вспоминает свою жизнь и прежних любимых, вот она кипятит чайник для новых гостей, вот она идет по Москве и поет частушки – и вот он, наш родной русский Колизей, вот арена огромного города, и жестокого и праздничного, где отдельно взятая жизнь не стоит ничего, зато все жизни, что она притягивает к себе, как магнитом, стоят целого мира, и каждая есть Бог:

*Голь ты перекатная, лебедь сизокрылая!
Ты, Москва стовратная – мордами да рылами...
Ты – мехами бурыми. Ты – шерстями вьючными
Ты – бровями хмурыми, скулами разлучными...
Ох, толпа ненастная! Шапкины залысины...
Где – лицо прекрасное: в мордах волчьих, лисьих ли?!
Неостановимая кипень многоглазая...
Где – лицо, любимое душиной да связоу?!*

*Я к тебе приращена снежной пуповиной —
Время наше страшное, неостановимое!*

Мария живет в Подвале; к ней заявляется подруга Марго и поет свою песню (и это откровенная песня «ночной бабочки», шалавы); наглая и веселая Марго не понимает Марию и ее умалишенного христианства – без церкви и молитвы, а только с ежедневной помощью несчастным ближним; и старая Мария, в одном из стихов, вдруг становится не морщинистой судомойкой («Руки в трещинах соды. / Шея – в бусах потерь...»), а торжествующей вечной женщиной, в славе и силе – почти царицей, почти Орантой:

*Ну что ж! Я вся распахнута тебе
Судьбина, где вокзальный запах чуден,
Где синий лютый холод, а в тепле —
Соль анекдотов, кумачовых буден...
Где все спешим — о, только бы дожать,
До финишной прямой — о, дотянуть бы!.. —
И где детишек недосуг рожать
Девчонкам, чьи — поруганные судьбы...
И я вот так поругана была.
На топчане распята. В морду бита.
А все ж — размах орлиного крыла
Меж рук, воздетых прямо от корыта.
Мне — думу думать?! Думайте, мужи,
Как мир спасти! Ведь дума — ваше дело!
А ты — в тисках мне сердце не держи.
А ты — пусти на волю пламя тела.
И, лавой золотою над столом
Лиясь — очьми, плечами, волосами,
Иду своей тоскою — напролом,
Горя зубами, брызгая слезами!*

Что ждет такого необычного человека внутри нынешнего каменного муравейника-мегаполиса, на арене современного Колизея? Крюкова напрямую не говорит, что – гибель или забвение. Наоборот: финал «Страстей по Магдалине» радостно и торжественно открыт, каждый волен сам додумать, что произойдет с бедной полоумной судомойкой, когда-то – хорошенькой девчонкой нарасхват, нынче – седой сивиллой, знающей все или почти все об общей людской судьбе:

*Славься, девчонка, по веки веков!
В бане — косичку свою заплети...
Время — тяжеле кандалных оков.
Не устоишь у Него на пути.
Запросто — дунет да плюнет — сметет,
Вытрясет из закровов, как зерно...
Так, как пощады не знает народ,
Так же — пощады не знает Оно.
Славься же, баба, пока не стара!
Щеки пока зацелованы всласть!..
Счастьем лика и воплем нутра —*

*Вот она, вечная женская страсть.
Но и к пустым подойдя зеркалам,
Видя морщины – подобием стрел,
Вспомнишь: нагою входила во храм,
Чтобы Господь Свою дочку узрел...*

* * *

Итак, мы покидаем Колизей.
На его арене пили и гуляли. Плакали и обнимались. Стреляли и танцевали.
Сгорали на крестах. Погибали, растерзанные хищной железной войной.
Оживали и тянули руки и публике – к живым людям: спасите!
Но представление закончилось. Гасят свечи и факелы. Гасят лампы и лампы.
Ворошат дрова в печи. Выключают плиту с кипящим на огне чайником.
Настало время отдыха. Завтра будет новое ристалище. Новый бой.
А пока – спите, герои.

Анастасия ПОМЕРАНСКАЯ

Москва кабацкая

Дворнические, застольные, любовные, свадебные, военные, крестильные, похоронные песни Столичной Бедноты, а также фрески и иные росписи дешевых столичных кабаков, кафэ и пельменных; а также веселые лубочные картинки, где хорошая пьянка смело изображается; а также Симфония в четырех частях о лысом Пророке Исаии и Восемь Арий Марфы Посадницы из ненаписанной оперы «Царство Зимы»

Подвал

*Ярко-желтый стол под фонарем,
Как желток цыплячий.
Желтая в нас кровь. И мы умрем
Смертию курячьей.*

*Пусть железный позвонок хрустит.
Время перебито.
Люстра над столом, гремя, висит.
Кажет стол копыто.*

*На пустынном, выжженном столе —
Помидор да зелье.
Поживу еще я на земле.
Пошщу веселья.*

*Опрокину в пасть еще одну
Стопку... или брашно...
А снаружи, на морозе, в вышину
Не гляжу: мне страшно.*

Роды в кабаке

Таскала я брюхо в тоске. Глодала небесную синь.
Рожаю дитя в кабаке – лоскутная рвется сарынь.

Подперло. Стакан из руки упал, как знаменье, звеня —
И – вдребезги... Стынут зрачки. Боль прет в белый свет из меня!

Кто в мир сей дерется, блажит?!.. Меня раздирает копьём?!..
Одну прожигала я жизнь. Теперь будем гибнуть вдвоем.

И эх!.. – я его прижила от черного зимнего дня,
Когда звезды Марса игла морозом входила в меня.

На панцирной сетке... – в дыму сожженного чайника медь!.. —
Всем чревом напомию – суму. Всей жизнью наполню я – смерть.

И там, на матрасе, где свил гнездо царь мышиный иль крот,
Всей дрожью веревочных жил скрутятся! – зачинала народ.

Той лысой макушки, как лук прорезывающей волосок... —
Глядите, пьянчуги, в мрак мук, тараштесь, пичуги, в ночь ног!

Бутылей разбитых гранат. Картошка изжарена в хруст.
Я гнусь и вперед и назад. Живот мой – пылающий куст.

Живот мой – кадушка, где плеск грядущих, пьянящих кровей.
Белков моих яростный блеск. И сдавленный крик журавлей.

И так, меж упавших скамей, ворочаясь льдиной, хрипя,
В поту, как в короне царей, я страшно рожаю Тебя —

Последний, сверкающий Бог, весь голый, кровавый червяк, —
И вот Ты сияешь меж ног, и вот разжимаешь кулак!

И вот нож кухонный несут, чтоб срезать родильный канат.
И вот на живот мне кладут алмаз в сто багряных карат.

И здесь, где кабацкая голь гитару, как шкуру, порвет, —
Я нянчу Тебя, моя боль, целую Тебя, мой народ!

Целую Тебя и люблю, – и, чуя могильную тьму,
Тебя бедной грудью кормлю! И выкормлю! И подниму!

И, средь звона стопок, среди
Тряпья испоганенных шлюх,
Прижму я Тебя ко груди,

Мой голый, сияющий Дух.

Последняя пляска

Господи, какая ночь!.. Костры заполошные!..
Кости будем мы толочь,
Крошить мяса крошево.
Рыбами – тела обочь
Возлежат вповалку...
Господи – такая ночь! – умереть не жалко!

Грязь глыбаста гульбища,
свечками – сугробы:
Пляшет во тьме идолище,
у разверста гроба.
Эта пляска – в простыне! Это я – босая —
На снегу пляшу в огне, я лимон кусаю!

Эх, кисло-свело
деревянные скулы...
Все во мне – померло.
Лютым ветром сдуло.

Резко клацнет затвор.
Шутки шутовали?!..
Заливайся, дикий хор!
Мало – диковали!

Мало с тулов – голов!
Мало лезвий точат!
Эх, а «...Бог есть любовь» —
что немой бормочет?!

Вот он, площади круг!
По кругу – огнища.
Мечутся огни рук.
Крылья шубы нищей.

Мало в звон – в прах – драк?!
Мало – костоломных?!
Вою – громче собак,
острожных, огромных!

Вот и выплясан век
до конца, досуха.
Вот он весь, человек —
на снегу старуха

Пляшет, пьяная в дым, —

это я, солдаты!
Дух мой Богом храним!
Это ж я, ребята!

Это я – пить... кормить...
вата... перевязки...
Я!.. – во рву псов – любить —
до последней ласки...

Я!.. – дышать – вам – рот в рот...
дрождью в дрожь – распята...
Я, мой нищий народ, —
не узнал, ребята?!..

Вас рожала... – меж глаз —
пот и свет – заплаткой...
Эх, пляшу – еще раз! —
пред последней схваткой!..

Гей, ударьте, ветра!
Вытанцуй, могила,
Всех, в ком пулей – дыра,
в ком – горелось-било!

Руки выброшу вам —
хлебом – вон из тела:
Жуйте! – глоткам и ртам —
крошевом летела!

И, покуда мой мир
голодал в канаве, —
Станцевала до дыр
пятки в вечной славе!

Не стреляй...
не стреляй...
Не стреляйте, братцы!..
Гибнет площадь – наш Рай.
Не запишут в Святцы.

Лишь катится лимон
по снегу в траншею.
Лишь огнем опален
крест на мертвой шее.

Ну-ка музыка, брызнь
среди костров горячих!
Вся ты, нищая жизнь, —
в судорге падучей.

Вся ты – боль да курок,
ветер с духом гари!..

...тебя Бог не сберег —
С босыми ногами.

Давид и Саул

Ты послушай меня, старик,
в дымном рубище пьяный царь.
Ты послушай мой дикий крик.
Не по нраву – меня ударь.
Вот ты царствовал все века,
ах, на блюде несли сапфир...
Вот – клешней сведена рука.
И атлас протерся до дыр.
Прогремела жизнь колесом
колесницы, тачки, возка...
Просверкал рубиновый ком
на запястье и у виска.
Просвистели вьюги ночей,
отзвонили колокола...
Что, мой царь, да с твоих плечей —
жизнь, как мантия, вся – стекла?!..
Вся – истлела... ветер прожег...
Да босые пятки цариц...
Вот стакан тебе, вот глоток.
Вот – слеза в морозе ресниц.

Пей ты, царь мой несчастный, пей!
Водкой – в глотке – жизнь обожгла.
Вот ты – нищий – среди людей.
И до дна сгорела, дотла
шуба царская, та доха, вся расшитая мизгирем...
Завернись в собачьи меха.
Выпей. Завтра с тобой помрем.
А сегодня напьемся мы,
помянем хоромную хмарь.
Мономахову шапку тьмы
ты напьяль по-на брови, царь.
Выйдем в сутолочь из чепка.
Святой Боже, – огни, огни...
Камня стон. Скелета рука.
Царь, зипунчик свой распахни
да навстречу – мордам, мехам,
толстым рылам – в бисере – жир...
Царь, гляди, я песню – продам.
Мой атлас протерся до дыр.

Царь, гляди, – я шапку кладу,
будто голову, что срубил,
в ноги, в снег!.. – и не грош – звезду
мне швырнет, кто меня любил.

Буду горло гордое драть.
На морозе – пьянее крик!..
Будут деньги в шапку кидать.
На стопарь соберем, старик.
Эх, не плачь, – стынет слез алмаз
на чугунном колотуне!..
Я спою еще много раз
о твоей короне в огне.
О сверкании царских риз,
о наложницах – без числа...
Ты от ветра, дед, запахнись.
Жизнь ладьей в метель уплыла.

И кто нищ теперь, кто богат —
все в ушанку мне грош – кидай!..
Пьяный царь мой, Господень сад.
Завьюжённый по горло Рай.

Любовь кабацкая

Эх, горят неоны алой кровью.
Выпила я грех из черной кружки
Города, как молоко коровье,
И упала головой в подушки.

Ужасом содвинулись громады,
Окна – что из черепов – глазницы...
Можно в ледяном колодце Ада
Зачерпнуть воды – и в смерть напиться.

Каблуки натягивают бабы.
Кабаки для них до дна раскрыты.
Пить вино Христос велел не слабым:
Только сильным, только не убитым.

Я – живая?!.. – Сохлый лист, мертвячка,
Юбки все протыканы иглою.
Я наперсток медный, я босячка,
Я прикинусь нынче молодою.

Пьяною прикинусь и красивой,
Нож покажут мне – сорву сережки:
Подавись!.. И я была счастливой.
И показывал мне месяц рожки.

И в окрошку – мало – искрошили.
Из горла всю высосали: ртутью.

...слышите, меня!.. – меня любили...
...задушу окурков левой грудью.

Животом – на стол. И ребра-прутья
Обожжет расплесканная водка.
На безлюбьи. На таком безлюдьи.
Нежно так любили.
Тайно.
Кротко.

И монетой тою же платила.
Из карманов рваных вынимала.
Пьянь, и рвань, и дрянь, – я их любила.
Жалко, плохо их любила. Мало.

И горит отчаянная люстра,
Сыплет снег на плечи, косы, спину:

Я люблю вас. Я люблю вас, люди.
Люди, никогда вас не покину.

И когда поволокут мне тело
Пьяное – из кабака – к могиле,
Прохриплю: я так любить хотела.
И любила. И меня любили.

По щекам, по крепким скулам били.
Пяткою – в живот. Подошвой – выю.
Им казалось: ненавидели!.. – любили.

...выпьем за любовь. Пока живые.

Японка в кабаке

Ах, мадам Канда,
с такими руками —
Крабов терзать
да бросаться клешнями...

Ах, мадам Канда,
с такими губами —
Ложкой – икру,
заедая грибами...

Ах, мадам Канда!..
С такими – ногами —
На площадях – в дикой неге —
нагими...

Чадно сиянье
роскошной столицы.
Вы – статуэтка.
Вам надо разбиться.

Об пол – фарфоровый
хрустнет скелетик...
Нас – расстреляли.
Мы – мертвые дети.

Мы – старики.
Наше Время – обмылок.
Хлеба просили!
Нам – камнем – в затылок.

Ты, мадам Канда, —
что пялишь глазенки?!..
Зубы об ложку
клацают звонко.

Ешь наших раков,
баранов и крабов.
Ешь же, глотай,
иноземная баба.

Что в наших песнях
прослышишь, чужачка?!..
Жмешься, дрожишь косоглазо, собачка?!..

...милая девочка.

Чтоб нас. Прости мне.
Пьяная дура. На шубку. Простынешь.

В шубке пойдешь
пьяной тьмою ночью.
Снегом закроешь,
как простынею,

Срам свой японский, —
что, жемчуг, пророчишь?!
Может быть, замуж
за русского хочешь?!..

Ах ты, богачка, —
езжай, живи.
Тебе не вынести
нашей любви.

Врозь – эти козьи —
груди-соски...
Ах, мадам Канда, —
ваш перстень с руки...

Он укатился под пьяный стол.
Нежный мальчик
Его нашел.

Зажал в кулаке.
Поглядел вперед.

Блаженный нищий духом народ.

Кармен забредает в кабак

Спирали синие, и вихри белых слез,
И кольца снега вдеты в мочки... —
В распахнутую дверь ворвись, мороз,
И ты, безумной крови дочка!

От зимки злые юбки отряхни,
Кроваво-красные отливы, —
И в зал влети, где гроздьями — огни,
Где лишь пирушкой люди живы...

Твое лицо — секира: режет тьму!
Процокай, задыхаясь, к стойке,
Монету кинь... Воззри на кутерьму,
На бивуачный дым попойки...

Никто же не узнал тебя, никто!
Ни черного костра волос. Ни раны
Меж ребер, под измызганным пальто,
Где дышат ветры и бураны...

Красавица, любовница Кармен!
Ты не нужна голодной гили.
Ты съешь и выпьешь — а возьмут взамен
Все, чем от века люди жили.

Тебя они до косточки сгрызут.
Все обсосут, причмокнув, крылья.
Скелет — поволокут на Страшный Суд,
Сопя, потя от бессилья.

Свободу и любовь сожгут дотла.
На мощь, на Красоту таращат зенки.
Тебя на утлом краешке стола
Заставят танцевать твое фламенко.

И будешь каблуком ты в доски бить.
Попадают все рюмки с красным.
И будешь сытых индюков любить
И битых селезней несчастных.

И будешь ты не яркая Кармен,
А просто девка из трактира:
Ну, лишку выпила, ну, не встает с колен,
И ни гроша не заплатила

За грозную и страшную жратву,
Питье – серебряной рекою...

...еще танцую, пью, дышу, живу,
От смерти смуглой заслонясь рукою.

Ах, душу рви! Ах, вой, гитара, пой!
Сорви все струны в гордом крике!
Ах, висельник, останусь здесь, с тобой,
Мой мир, солдат, палач, пацан, владыка.

И мне осталась только эта страсть:
Покуда лезвие мне под ребро не всадят —
Убить. Любить. Успеть. Урвать. Украсть —
С цыганской кровью черт не сладит!.. —

Зацеловать, затискать этот мир,
Пропитый в закоулках окаянных:
Потертый и прожженный весь, до дыр,
Любовный, бедный, яростный, – желанный.

Убийство в кабаке

Ах, все пели и гуляли. Пили и гуляли.
На лоскутном одеяле скатерти – стояли
Рюмки с красным, рюмки с белым,
черным и зеленым...
И глядел мужик в просторы глазом запаленным.
Рядом с ним сидела баба. Курочка, не ряба.
На колени положила руки, костью слабы.
Руки тонкие такие – крылышки цыплячьи...
А гулянка пела – сила!.. – голосом собачьим...
Пела посвистом и воем, щелком соловьиным...
Нож мужик схватил угрюмый —
да подруге – в спину!
Ах, под левую лопатку, там, где жизни жила...
Побледнела, захрипела: – Я тебя... любила...

Вдарьте, старые гитары! Мир, глухой, послушай,
Как во теле человечьем убивают душу!
Пойте, гости, надрывая вянущие глотки!
Закусите ржавость водки – золотом селедки!
Нацепите вы на шеи ожерелья дыма!..
Наклонись, мужик, над милой,
над своей любимой...
Видишь, как дымок дымится —
свежий пар – над раной...
Ты сгубил ее не поздно. Может, слишком рано.
Ты убил ее любовью. Бог с тобой не сладит.
Тебя к Божью изголовью – во тюрьму – посадят.
Я все видела, бедняга... На запястьях – жилы...
Ты прости, мой бедолага, – песню я сложила.
Все схватила глазом цепким, что ножа острее:
Рюмку, бахромку скатерки, выгиб нежной шеи...
Рыбью чешую сережек... золото цепочки...
Платье, вышитое книзу
крови жадной строчкой...
Руки-корни, что сцепили смерти рукоятку...
На губах моих я помню вкус кроваво-сладкий...

Пойте, пейте сладко, гости!
Под горячей кожей —
О, всего лишь жилы, кости, хрупкие до дрожи...
Где же ты, душа, ночуешь?!
Где гнездишься, птица?!
Если кровью – захлебнуться...
Если вдрызг – разбиться...
Где же души всех убитых?!

Всех живых, живущих?!..
Где же души всех забытых?!..
В нежных, Райских кущах?!..
Об одном теперь мечтаю: если не загину —
Ты убей меня, мой Боже, так же —
ножом в спину.

«С клеенки лысой крохи стерли...»

*С клеенки лысой крохи стерли.
Поставили, чем сбрызнуть горло.
Вот муравейник, дом людской:
Плита и мышка под доской.
Виньетки вьюжные, надгробные.
Кухонный стол – что Место Лобное:
Кто выпьет тут – сейчас казнят.
Кто выйдет – не придет назад.
Вы, дворники, мои ребята.
Истопники, мои солдаты.
Пила я с вами до заката.
Я с вами ночьку пропила.
Лазурью глотку залила.
Спалила ртутью потроха!
Я сулемой сожгла – дыха...
Цианистый я калий – ем!
Рассвет. Лопаты и меха.
Рассвет. А ну его совсем.*

Свадьба в кабаке

Я на свадьбе гуляю нынче —
на чужой, ох, не на своей!
И сверкает жемчужная низка
у меня меж шальных грудей.

Груди белые все в морщинах.
Не сочту я злобных морщин.
Вся шаталась, как в бусах, в мужчинах!..
Вот и нету со мной мужчин.

Эта жизнь, как голодная крыса,
то укусит, то юркнет в щель...
Уходящую – надобно сбрызнуть.
Пусть ударит в голову хмель.

Как лелеяли, как ласкали!..
Вместо рук – гудит пустота.
Меж серебряными висками
смерть мою целую в уста.

Как невеста красива, Боже.
Как сияет белая ткань.
Как она на меня похожа.
Эта нищенка, эта дрянь.

Те же серьги до плеч – для соблазна.
Тот же алый рот – для греха.
И такую же зверью несчастной
смотрит ввысь головы жениха.

Жизнь – крутая, святая сила.
Для любви раздвинь ложесна.
А потом распахнет могилу
для тебя только Смерть одна.

И забьешься в крик, разрывая
кружевную, до пят, фату:
Я живая! Бог, я живая!..
Не хочу идти в пустоту!..

Жить хочу!..
...В головах постлать бы
этой девочке – поле, снег.
Все гремит последняя свадьба.
На подносах уносят век.

И я, вусмерть пьяная, плачу,
оттого, как свет этот груб,
и в ладонях моих горячих —
лик, целованный сотней губ;

и я рюмку себе наливаю
да под самое горло огня:
Господи, пока я живая,
выдай Ты за Себя меня.

«Ах, девочка на рынке...»

*Ах, девочка на рынке,
В кулаке – гранат!
Давай гулять в обнимку.
Пусть лешаки глядят.*

*Плечи в меня глазами —
В них черное вино.
Дай мне пронзить зубами
Кровавое зерно.*

*А зерна снега валят,
Крупитчатые, крупны...
Твой рот
твой плод захвалит!*

Раскупят! О, должны!..

*И деньги искрят, льются
В смуглявину руки —
За счастье жизни куцей,
За сладкий сок тоски.*

Василий Блаженный

Напиться бы, ах, напиться бы,
напиться бы – из горсти...
В отрепьях иду столицю.
Устала митру нести.
Задохлась!.. – лимон с клубникою?!.. —
железо, ржу, чугуны —
тащить поклажей великою
на бешеной пляске спины.
Я выкряхтела роженочка —
снежок, слежал и кровав.
Я вынянчила ребеночка —
седую славу из слав.
Какие все нынче бедные!
Все крючат пальцы: подай!..
Все небо залижут бельмами!.. —
но всех не пропустят в Рай.

А я?.. Наливаю силою
кандалный, каленый взгляд.
Как бы над моей могилою, в выси купола горят.
Нет!.. – головы это! Яблоки!
Вот дыня!.. А вот – лимон!..
Горят последнею яростью
всех свадеб и похорон.
Пылают, вещие головы,
власы – серебро да медь,
чернеющие – от голода,
глядящие – прямо в смерть!
Шальные башки вы русские, —
зачем да на вас – тюрбан?!..
Зачем глаза, яшмы узкие,
подбил мороз-хулиган?!..
Вы срублены иль не срублены?!..

...Ох, Васька Блаженный, – ты?!..
Все умерли. Все отлюблены.
Все спать легли под кресты.
А ты, мой Блаженный Васенька —
босой – вдоль черных могил!
Меня целовал! Мне варежки
поярковые подарил!
Бежишь голяком!.. – над воблою
смоленых ребер – креста
наживка, блесна!.. Надолго ли
крестом я в тебя влита?!

Сорви меня, сумасшедшенький!
Плюнь! Кинь во грязь! Растопчи!
Узрят Второе Пришествие,
кто с нами горел в ночи.
Кто с нами беззубо скалился.
Катился бревном во рвы.
Кто распял. И кто – распялился
в безумии синевы.

А ты всех любил неистово.
Молился за стыд и срам.
Ступни в снегу твои выстыли.
Я грошик тебе подам.
Тугую, рыбой блеснувшую
последнюю из монет.
Бутыль, на груди уснувшую:
там водки в помине нет.
Там горло все пересохшее.
Безлюбье и нищета.
Лишь капля, на дне усопшая, —
безвидна тьма и пуста.
А день такой синеглазенький!
У ног твоих, Васька, грязь!
Дай, выпьем еще по разику —
смеясь, крестясь, матерясь —
еще один шкалик синего,
презревшего торжество,
великого,
злого,
сильного
безумия
твоего.

«Ты вскинул бокал темно-красного...»

*Ты вскинул бокал темно-красного,
Прищурясь, насмешкой сжег:
– За очи твои прекрасные!
За твой золотой зубок!.. —
Поджаренная, готовая,
Пласталась, – жратвы удел!..*

*Да ты через кровь Христовую
В упор на меня глядел.*

Видение Исаяи о разрушении Вавилона

симфония в четырех частях

Adagio funebre

Доски плохо струганы. Столешница пуста.
Лишь бутылъ – в виде купола.
Две селедки – в виде креста.
Глаза рыбы – грязные рубины.
Они давно мертвы.
Сидит пьяный за столом. Не вздернет головы.

Сидит старик за столом. Космы – белый мед —
Льются с медной лысины за шиворот и в рот.

Эй, Исайка, что ль, оглох?!.. Усом не повел.
Локти булыжные взгромоздил, бухнул об стол.

Что сюда повадился?!.. Водка дешева?!..
Выверни карманишки – вместо серебра —

Рыболовные крючки, блесна, лески... эх!..
Твоя рыбка уплыла в позабытый смех...

Чьи ты проживаешь тут денежки, дедок?..
Ночь на денет на голову вороной мешок...

Подавальщица грядет. С подноса – гора:
Рыбим серебром – бутылки: не выпить до утра!..

Отошли ее, старик, волею своей.
Ты один сидеть привык. Навроде царей.

Бормочи себе под нос. Рюмку – в кулак – лови.
Солоней селедки – слез нету у любви.

.....

Andante amoroso

А ты разве пьяный?!.. А ты разве грязный?!.. Исаия – ты!..
На плечах – дорогой изарбат...
И на правом твоём кулаке —
птица ибис чудной красоты,

И на левом – зимородковы крылья горят.
В кабаке родился, в вине крестился?!..
То наглец изблюет,
Изглумится над чистым тобой...
Там, под обмазанной сажей Луной,
в пустынном просторе,
горит твой родимый народ,
и звезда пророчья горит над заячьей, воздетою твоею губой!
Напророчь, что там будет!.. Встань – набосо и наголо.
Руку выбрось – на мах скакуна.
Обесплотятся все. Тяжко жить. Умирать тяжело.
Вся в кунжутном поту, бугрится спина.
Ах, Исайя, жестокие, бронзой, очи твои —
Зрак обезьяны, высверк кошки, зверя когтистого взгляд... —
На тюфяках хотим познать силу Божьей любви?!.. —
Кричи мне, что видишь. Пей из белой бутылки яд.
Пихай в рот селедку. Ее батюшка – Левиафан.
Рви руками на части жареного каплуна.
И здесь, в кабаке кургузом, покуда пребудешь пьян,
Возлюблю твой парчовый, златом прошитый бред, —
дура, лишь я одна.

.....

Allegro disperato

Зима возденет свой живот и Ужас породит.
И выбьет Ужас иней искр из-под стальных копыт.
И выпьет извинь кабалы всяк, женщиной рожден.
Какая пьяная метель, мой друже Вавилон.
Горит тоскливый каганец лавчонки. В ней – меха,
В ней – ожерелья продавец трясет:
«Для Жениха
Небесного – купи за грош!..» А лепень – щеки жжет,
Восточной сладостью с небес, забьет лукумом рот.
Последний Вавилонский снег. Провижу я – гляди —
Как друг у друга чернь рванет сорочки на груди.
С макушек сдернут малахай. Затылком кинут в грязь!
Мамону лобызает голь. Царицу лижет мразь.
Все, что награблено, – на снег из трещины в стене
Посыплется: стада мехов, брильянтов кость в огне,
И, Боже, – девочки!.. живьем!.. распялив ног клешни
И стрекозиных ручек блеск!.. – их, Боже, сохрани!.. —
Но поздно! Лица – в кровь – об лед!.. Летят ступни, власы!..
Добычу живу не щадят. Не кинут на весы.
И, будь ты царь или кавсяк, зола иль маргарит —
Ты грабил?!.. – грабили тебя?!.. – пусть все в дыму сгорит.

Кабаньи хари богачей. Опорки бедняка.
И будешь ты обарку жрать заместо каймака.
И будет из воды горох, дрожа, ловить черпак, —
А Вавилон трещит по швам!.. Так радуйся, бедняк!..
Ты в нем по свалкам век шнырял. В авоськах — кости нес.
Под землю ты его нырял, слеп от огней и слез.
Платил ты судоргой телес за ржавой пищи шмат.
Язык молитвою небес пек Вавилонский мат.
Билет на зрелища — в зубах тащил и целовал.
На рынках Вавилонских ты соль, мыло продавал.
Наг золота не копил, так!.. Над бедностью твоей
Глумился подпитой дурак, в шелку, в венце, халдей.
Так радуйся! Ты гибнешь с ним. Жжет пороссячий визг.
Упал он головою в кадь — видать, напился вдрызг.

И в медных шлемах тьма солдат валит, как снег былой,
И ночь их шьет рогожною, трехгранною иглой.
Сшивает шлема блеск — и мрак. Шьет серебро — и мглу.
Страхни последний хмель, червяк.
Застынь, как нож, в углу.
Мир в потроха вглотал тебя, пожрал, Ионин Кит.
А нынче гибнет Вавилон, вся Иордань горит.
Та прорубь на широком льду.
Вода черным-черна.
Черней сожженных площадей.
Черней того вина,
Что ты дешевкой — заливал — в луженой глотки жар.
Глянь, парень, — Вавилон горит: от калиты до нар.
Горят дворец и каземат и царский иакинф.
Портянки, сапоги солдат. Бутыли красных вин.
А водка снега льет и льет, хоть глотки подставляй,
Марой, соблазном, пьяным сном, льет в чашу, через край,
На шлемы медной солдатни, на синь колючих щек,
На ледовицу под пятой, на весь в крови Восток,
На звезд и фонарей виссон, на нищих у чепка, —
Пророк, я вижу этот сон!.. навзрячь!.. на дне зрачка!.. —
Ах, водка снежья, все залей, всех в гибель опьяни —
На тризне свергнутых царей, чьи во дерьме ступни,
Чьи руки пыткой сожжены, чьи губы как луфарь
Печеный, а скула что хлеб, — кусай, Небесный Царь!
Ешь!.. Насыщайся!.. Водка, брызнь!.. С нездешней высоты
Струей сорвись!.. Залей свинцом разинутые рты!
Бей, водка, в сталь, железо, медь!.. Бей в заберег!.. в бетон!..
Последний раз напьется всмерть голодный Вавилон.
Попойка обескудрит нас. Пирушка ослепит.
Без языка, без рук, без глаз — лей, ливень!.. — пьяный спит
Лицом в оглодьях, чешуе, осколках кабака, —
А Колесницу в небе зрит, что режет облака!
Что крестит стогны колесом!..

В ней – Ангелы стоят
И водку жгучим снегом льют в мир, проклят и проклят,
Льют из бутылей, из чанов, бараньих бурдюков, —
Пируй, народ, еще ты жив!.. Лей, зелье, меж зубов!..
Меж пальцев лей,
бей спиртом в грудь,
бей под ребро копьем, —
Мы доползем, мы... как-нибудь... еще чуть... поживем...

.....

Largo. Pianissimo

Ты упал лицом, мой милый,
В ковш тяжелых рук.
В грязь стола,
как в чернь могилы,
Да щекою – в лук.

Пахнет ржавая селедка
Пищею царей.
Для тебя ловили кротко
Сети рыбарей.

Что за бред ты напророчил?..
На весь мир – орал?!..
Будто сумасшедший кочет,
В крике – умирал?!..

Поцелую и поглажу
Череп лысый – медь.
Все равно с тобой не слажу,
Ты, старуха Смерть.

Все равно тебя не сдюжу,
Девка ты Любовь.
Водки ртутной злую стужу
Ставлю меж гробов.

Все сказал пророк Исайя,
Пьяненький старик.
Омочу ему слезами
Я затылок, лик.

Мы пьяны с тобою оба...
Яблоками – лбы...
Буду я тебе до гроба,

Будто дрожь губы...

Будут вместе нас на фреске,
Милый, узнавать:
Ты – с волосьями, как лески,
Нищих площадок рать, —

И, губами чуть касаясь
Шрама на виске, —
Я, от счастья косая,
Водка в кулаке.

Милостыня

Подайте, милые, на шкалик
Господней грешнице, рабе!
В мешке с дырой, в рыбацкой шали,
с алмазным потом на губе!
Сижу на рынке я в сугробе.
Устану – лягу в жесткий снег.
Как будто я лежу во гробе,
и светят полукружья век.
И вновь стручком в морозе скрючусь,
и птичьи лапки подожду.
Свою благословляю участь.
В собачьих метинах суму.
Пошто сошла с ума? Не знаю.
Так счастливо. Так горячо.
И тычет мне людская стая
то грош, то черный кус в плечо.
А нынче помидор подмерзлый
мне светлый Ангел тихо дал:
ешь, детка, мир голодный, грозный,
но в нем никто не умирал.
И я заплакала от счастья,
и красную слизала кровь
с ладони тощей и дрожащей,
с посмертной белизны снегов.

Волковы бани

Ветки черны. Святый Боже.
Переулок, будто морда
Волка. Мы с тобой похожи:
узкий череп, рыба хорда.

Шерсть вся вздыбилась на холке —
пряди слипшиеся снега...
Баня зимняя!.. — для волка.
Будешь чище человека.

В душной, яростной парилке,
черной мордой — в шайке бычьей —
мокрый хвост... — и бьется жилкой
жизнь: людская, зверья, птичья,

Барабанная, лопатья,
лом, кирка, метла, скребница...
Шкуры сброшенное платье.
Ребер бешеные спицы.

Ни наестся. Ни напиться.
Тусклый свет. Предбанник гулкий.
В бане моется волчица —
в Криволапом переулке.

Завтра когти вспять оттянут!
В печень — нож! В загривок — пулю!

...Мойся. Чистыми восстанут,
кто в грязи — в грехе — уснули.

Блаженная и пьяный пророк

– Вся я – терние!..
Вся я – вервие!..
Бусы зимние,
Убрusy смертные...

Рыба хариус —
Тело нежное...
Жамкнут – харями —
Душу грешную!..

– Чавкай варево,
Гавкай вражину, —
Смерть повалится —
Снег в овражину...

Над хламидою
Да над хлебовом
Вспыхнет митрою
Место Лобное!..

– Батька, батюшка,
Весь ты пьяненький...
Руки – баржами...
Бездыханненький...

Длани – язвами...
Пальцы – крючьями...
По мне лазают —
Нитка ссучена!..

– Ах ты, дурочка,
Глаза фосфорны.
Ах ты, дудочка,
Свист под космами.

Шелопутная,
Подвагонная, —
А глаза твои —
Халцедонные...

Ты зачем ко мне,
Дура, цеписься?!..
В лысый лбище мой
Губой целишься?!..

Ты сигай в костер!
Со мной не балуй!
Ты в мороз – топор
Лучше поцалуй!..

Я – исчадие.
Я – несчастье.
Страстотерпие.
Звездовластие.

Я всему чужой.
Мой отмерен срок.
На земле большой
Я один – Пророк.

– Бормочи тишей...
Все вертается...
Твой язык взащей
Заплетается...

Не реви... не лей
Слезы – водкою...
Я одна тебе
Лягу – лодкою...

Отдохни... ложись —
На меня... в меня...
Бедный, что за жись —
Корма нет в коня...

Обхвати... ломай...
Да грызи, кусай!..
Ешь, похваливай,
Наземь не бросай...

Запах мой вдохни...
Рот куском утри...
Мы в тобой одни —
Только не умри!..

Оком мир пожри!..
Съешь меня до крох!.. —
Только не умри:
Мой последний вздох...

Под забором – сдох?!.. —
Под ключицей – крест?!.. —
Мой последний Бог
В ожерелье звезд.

– Тебя хватъ, халда,
Как в кулак свечу!..
Ты одна – беда!.. —
Миру по плечу.

Мир палил-палил!
Мир пылал-пылал!
Мир стрелял-стрелял —
Он стрелять устал.

А юродский дух,
А родная грязь —
Наш пирог на двух,
Что жуем, смеясь,

Меж дрезинами,
Вагонетками,
Меж разинями,
Малолетками,

Средь сивеющих,
Гласом сипнущих,
Средь живеющих,
Среди гибнущих, —

И – смерч нефтяной
Всех духов среди!.. —
Наш пирог больной,
Вензель на груди,

Вензель сахарный,
Со смородиной:
«ТЫ ЮРОДИВАЯ.
Я ЮРОДИВЫЙ».

«По Радищевской улице...»

*По Радищевской улице
Колобком я качу.
Ночь.
— ...тресветлая, умница!.. —
Я Луне бормочу.*

*Я – бескрылою Никою —
По вьюге – к кабаку.
Я корзину с клубникою
Ко Кресту волоку.*

Девочка в кабаке на фоне восточного ковра

Закоченела, – здесь тепло... Продрогла до костей...
Вино да мирро утекло. Сивухой жди гостей!
Ты белой, гиблой ртутью жги раззявленные рты.
Спеши в кабак, друзья, враги, да пой – до хрипоты!
С невымытых блюд – глаза грибов. Бутылей мерзлых полк.
Закончился твой век, любовь, порвался алый шелк.
В мухортом, жалком пальтеце, подобная ножу,
С чужой ухмылкой на лице я средь людей сижу.
Все пальтецо – в прошивах ран. Расстреляно в упор.
Его мне мальчик Иоанн дал: не швырнул в костер.
Заколку Петр мне подарил. А сапоги – Андрей.
Я – средь клыков, рогов и рыл. Я – с краю, у дверей.
Не помешаю. Свой кусок я с блюдечка слижу.
Шрам – череп пересек, висок, а я – жива сижу.
Кто на подносе зелье прет да семужку-икру!.. —
А мне и хлеб рот обдерет: с ним в кулаке – помру.
Налей лишь стопочку в Раю!.. Ведь все мои – в Аду...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.